

Олег ДЕМИДОВ

Родился в 1989 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Поэт, публицист, литературовед, исследователь жизни и творчества имагинистов.

Составитель книги «Циники: роман и стихи» (М.: Книжный клуб «Книговек», 2016), а также собраний сочинений Анатолия Мариенгофа (М.: Книжный клуб «Книговек», 2013), Ивана Грузинова (М.: Водолей, 2016), Эдуарда Лимонова (СПб.: Питер, 2022) – «КПД», Ивана Приблудного (М.: Русский Гулливер, 2022) – «КПД», антологии русской военной поэзии 2014–2022 годов «Воскресшие на Третьей мировой» (СПб.: Питер, 2022) – «КПД». Автор биографии «Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов» (М.: Редакция Елены Шубиной, 2019), трех стихотворных сборников и других книг. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Сибирские огни», «Октябрь», Номо Legens, на сетевых ресурсах. Лауреат и дипломант ряда литературных премий.

Живёт в Химках.

«ДЕД»: ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ

Дорогие читатели, перед вами – глава из будущей книги под кодовым названием «Бронза», которую мы делаем вместе с литературным критиком Алексеем Колобродовым и философом Владиславом Крыловым. Мы хотим показать особый период в истории русской литературы – вторую половину XX века. Известный культуртреггер и поэт Слава Лён обозначил это время как «Бронзовый век русской литературы». Мы гипотетически предложили рамки: 1953–1991 годы (объяснения датировки излишни). И ставим себе задачу – показать тех удивительных литераторов и философов, которые сформировали это время и на плечи которых – метафорически – мы сейчас встаём и делаем новое искусство. В предложенной главе речь пойдёт об Евгении Кропивницком, который собрал вокруг себя Лианозовскую школу.

О. Д.

Есть несколько людей, которые, отрываясь от Серебряного века и пронося себя через 1930-е годы и Великую Отечественную войну, выходят к новому культурному порогу, на котором им в свою очередь предстоит построить шалашик, сарайчик, ну в крайнем случае – барак Бронзового века. И мы не берём в расчёт мастодонтов типа Бориса Пастернака и Анны Ахматовой, Анатолия Мариенгофа и Алексея Кручёных, Рюрика Ивнева и Михаила Зенкевича и т. п. Мы говорим о молодых и относительно молодых, толком не успевших состояться в те годы и давших новому послевоенному времени тайные ключи, знание и дерзновение.

Из этих людей надо выделить в первую очередь Николая Глазкова (1919–1979) и Евгения Кропивницкого (1893–1979).

Глазков – это юродство, помноженное на лингвистическое безумие и тягу к стихосложению (графоманию высшего порядка). Он ещё

в тридцатые годы успел войти в круг Лили и Осипа Бриков, у них познакомился с Семёном Кирсановым, Николаем Асеевым, Алексеем Кручёных, Анатолием Мариенгофом и т. д. Будучи студентом московского педагогического института им. Ленина, он игрался в неофутуризм, выпускал с друзьями-однокурсниками альманах, за что и был выгнан из вуза; а после начал писать без всяких приставок «нео». Например, такое стихотворение 1939 года:

Мне нужен мир второй,
Огромный, как нелепость,
А первый мир маячит, не маня.

Долой его, долой:
В нём люди ждут троллейбус,
А во втором – меня.

Первый мир – мир больших строек, политической борьбы, сталинских репрессий, официальной литературы, толстых журналов, подготовки к новой большой войне, учёбы в вузе и прочего социокультурного и социополитического счастья. То есть реальная жизнь со всеми её плюсами и минусами. А второй мир – это какая-то альтернативная реальность, которая существует наряду с первым миром, но остаётся в тени: это «салоны Анны Павловны Шерер», то есть отдельные квартиры именитых людей от мира культуры, готовых принять богему со всеми её заморочками; это читатели нестандартной литературы и ценители (скажем, может быть, неточно и грубо) авангарда; это небольшое сообщество, готовое не только и не столько принимать навязанные законы искусства (а вместе с ним – этики и морали), сколько испытывать всё на себе и производить что-то принципиально новое.

И вот в этом втором мире ожидается приход нового мессии. Или даже нескольких мессий, несущих свои откровения.

Николай Глазков положил начало альтернативной реальности, начав всерьёз заниматься «самсебяиздатом»: брал школьные тетради, от руки записывал «короткостишья»; позже, когда появилась печатная машинка, набивал стишки и сброшюровывал их в маленькие книжки. Получалось удивительно:

Писатель рукопись посеял,
Но не сумел её издать.
Она валялась среди Расеи
И начала произрастать.

Поднялся рукописи колос
Над сорняковой пустотой.
Людей громада раскололась
В признание рукописи той.

Одни кричали: «Это хлеб,
И надо им засеять степи!»
Другие – что поэт нелеп
И ничего не смыслит в хлебе.

«Сорняковая пустота» начала скукоживаться, так как «свободы сеятель пустынный» начал свой разбег. Вслед за ним подтянулись другие. Параллельно с ним работали в том же направлении коллеги постарше, всё тот же Евгений Кропивницкий, которого в силу возраста молодые коллеги просто называли Дед .

И пусть разница в возрасте вас не пугает, они – дети Серебряного века: Глазков – в прямом смысле, Кропивницкий – представьте себе на минуточку! – родился в один год с Владимиром Маяковским (футурист), Вадимом Шершеневичем (имажинист с левым уклоном), Алексеем Ганиным (поэт «новокрестьянской купницы») и Иваном Грузиновым (имажинист с правым уклоном). Это уже ко многому обязывает – хотя бы поколенчески, не говоря уж об одной литературной стихии, об одном воздухе эпохи.

Все они начинали с подражания символистам, но дальше уходили в эксперименты. В случае Кропивницкого – это удивительный стык традиции и авангарда, одновременно похожий на всё, что происходило в те годы, и довольно редкий подход, в рамках которого синтезируются противоположные начала – деревня и город, футуризм и неокрестьянство, сектантство и воцерковлённость и т. п.

Например, есть такое стихотворение «Я парикмахер: стригу и брею...» (1919) – в нём помимо всего вышеописанного уже проглядывает нарочитый примитивизм, который Кропивницкий позже разовьёт до предела:

Я парикмахер: стригу и брею,
И так проходит мой целый день.
Я отлучиться на час не смею,
Хозяин ходит за мной, как тень.

Замучил город тоской железной:
Автомобили, трамваев звон.
В тоске напрасной и бесполезной
Я вижу детство – желанный сон.

Вот я в деревне, вот я мальчишка,
Играю в бабки, бегу к реке.
Со мной ребята – Серёжка, Гришка –
Катаюсь с ними я в челноке.

Всё промелькнуло, ушло куда-то,
К былому счастью дороги нет.
Теперь мне скучно, душа помята,
Хотя ещё мне немного лет.

Соблазнительно увидеть в Серёжке – Сергея Александровича Есенина, но тогда возникает вопрос: а кто тогда Гришка? Думается, это простые и распространённые в крестьянской среде имена – и не более того. А вот «тоска железная», автомобили, трамваев звон и прочее «адище города» заставляют лирического героя спасаться ностальгией – не столько даже по деревне, сколько по детству (инфантилизм во многом сродни примитивизму). Отсюда возникает звонкая элегическая нота, которую хочешь не хочешь, а точно услышишь.

Есть ещё один характерный пример – «Сумерки дней» (1917):

Пусть шумна улица московская,
Пусть жизнь течёт в избытке бед –
Я богородица хлыстовская,
На мне печать – небесный свет.

Когда в квартире, где радение,
Я раздеваюсь донага –

Я слышу херувимов пение,
Поющих славу мне века.

Молящиеся приобщаются
Моей нескáзанной красы,
И, корчась, в судорогах касаются
Моей распущенной косы.

И вот уж в плясе упоительном
Молящиеся. В теле жуть.
Мне сладострастно соблазнительно
Хлыстом по девушке хлестнуть.

Экстаз растёт – все в иступлении,
Томит горячий запах тел...
Вдруг замираю я в томлении –
И взгляд мой мутен, тускло-бел...

Эрос на грани Танатоса, «пляс упоительного моления», духовная экзальтация – всё это мы читали не раз. Легко можно представить себе этот текст за подписью Николая Клюева, Рюрика Ивнева, Пимена Карпова или, на худой конец, Дмитрия Мережковского. Ан нет – это их пока неприметный сверстник – Евгений Кропивницкий.

Хотя как – неприметный? Это неправда.

Евгений Леонидович помимо того, что писал стихи, ещё занимался музыкой и живописью. Учился в Императорском Строгановском центральном художественно-промышленном училище и окончил его со званием «учёный рисовальщик» (помимо этого – с 1915 по 1918 год учился в народном университете Шанявского на факультете истории; чуть-чуть разминулся с Сергеем Есениным, который учился там в 1913–1915 годах). Писал музыку: оперные сцены «Кирибеевич» (по лермонтовской «Песне о купце Калашникове») и простые романсы (сохранился как минимум один – «Снова весна»); был знаком с Александром Гречаниновым и Михаилом Ипполитовым-Ивановым (из современников больше всего ценил Дмитрия Шостаковича).

После 1920 года Кропивницкий много колесил по стране. В одном из первых пристанищ, в Вологде, встретил Ольгу Ананьевну Потапову (1892–1971), которая вскоре стала его женой, а вместе с тем столь же скоро стала серьёзно заниматься живописью. После всех странствий они, обзаведясь сыном Львом (родился в 1922 году в Тюмени), вернулись в столицу, где у них родилась ещё и дочь Валентина (1924). В те же годы Потапова пошла на учёбу к художникам из легендарной группы «Бубновый валет» – к Илье Машкову и Василию Рождественскому. Через них семейство познакомилось и с остальными участниками группы, а Кропивницкий даже принимал участие в их выставках. С 1939 года он стал членом Союза художников СССР.

Но вернёмся к поэзии. Течение творческого пути Кропивницкого с двух сторон подпирали два очень непохожих друг на друга поэта – Филарет Чернов (1878–1940) и Арсений Альвинг (1895–1942). Первый – друг семьи Кропивницких, экзальтированный и даже немного сумасшедший (несколько раз после чрезмерного питья оказывался в доме умалишённых), автор эмигрантского романа «Замело тебя снегом, Россия...» (хотя сам не мог и помыслить об эмиграции). Второй – абсолютный эстет, традиционалист, ценитель поэзии Иннокентия Анненского, после Великой Октябрьской Социалистической революции преподавал в домах творчества основы стихосложения и историю литературы.

И вот пересечение русского юродства и серебряновековской эстетики породило поэзию Кропивницкого, как, например, в стихотворении «Мечь» (1939):

Смята белая перина,
В душевной комнате тепло.
После сцены балерина,
Коновалова Ирина,
Парамоновой назло
Пригласила Иванова –
И теперь он пьян и спит...
Ночь в окно глядит сурово,
Острый серп как нож торчит.

Именно с литературной учёбы у Альвинга начинал юный Генрих Сапгир (тогда – Сабгир). После смерти мэтра в 1942 году он перешёл к его близкому другу – Евгению Кропивницкому.

В эссе «Лианозово и другие» подробно описывается этот период:

Я, можно сказать, самый ранний его ученик. Я знал Евгения Леонидовича <...> со своих пятнадцати лет. Нередко я оставался у него ночевать, и тогда мне стелили на полу, на который клали фанеру и кое-какую одежку, – комнатка была мала, в ней жили ещё его жена – художница Ольга Ананьевна и дочь Валентина. Сын Лев был на войне. Со временем появились и другие ученики как в поэзии (с 1949 года появился Игорь Холин. – О. Д.), так и в живописи. Мы гуляли по окрестным паркам и лесам, читали и без конца беседовали об искусстве. Это был истинный учитель и магнетическая личность. Как я понимаю, он каждому неوفиту давал проявить себя и поддерживал его в этом стремлении. Почему его в свое время не арестовали, не знаю.

Самого Евгения Леонидовича репрессии не коснулись, но задели его сына Льва. В 1946 году, пройдя Великую Отечественную (была информация, что погиб в Сталинграде; получил орден Отечественной войны II степени), тот был осужден на десять лет лагерей. До конца срока не досидел: освобождён с началом «оттепели» в декабре 1954 года. После освобождения жил в Казахстане, только в 1956 году был реабилитирован и вернулся в Москву.

Кропивницкий вообще жил, как будто не замечая исторических завихрений: 1917–1918-й, Гражданская война, голод, пятилетки, репрессии, Финская война, Великая Отечественная и т. д. – всё было фоном, к тому же – необязательным фоном. На первом плане были поэзия, живопись, педагогическая работа и быт. Когда педагогическая работа и худо-бедно налаженный быт наличествовали...

Во время Великой Отечественной было невыносимо. Генрих Сапгир вспоминал («Учитель»): «Да, ещё во время войны мы зачастую шли обедать в бывший ресторан “Спорт” – Учитель и Ученик по его талонам на усиленное дополнительное питание – УДП. “Умрёшь днём позже”, – говорили мы. Ему они полагались как преподавателю изостудии Дома пионеров Ленинградского района».

Дочка Валентина дополняла картину: «В первые военные годы Евгений Леонидович много болел, жить было трудно. Дом пионеров, где он работал, закрылся, так как детей в Москве уже не было. От одолевавших его болезней, от голода он очень ослаб и однажды на улице потерял сознание и попал под машину. После выздоровления осталась небольшая хромота».

Но и это стоически было преодолено.

Вообще отстранённость, остранённость и упрямство способствовали формированию уже чисто кропивницкой поэтики – как, например, в стихотворении «Ночь» (1945):

Кривилась витрина.
Мигал светофор.
В нарядной гостинной
Китайский фарфор.

На чёрном заводе
И скрежет, и визг.
Горел в небосводе
Крутящийся диск.

За серой тоннелью
Журчала вода.
По рельсам гремели
Во тьме поезда.

Сидели. Курили.
Лупили. Ушли.
Убили. Зарыли.
Таскали кули.

Пьянели у стойки
И жрали салат.
Чесался на койке
Спросонья солдат.

Назывные предложения здесь похожи на мазки художника: раз провёл кистью – мигающий светофор, второй раз – чёрный завод, третий – крутящийся диск на небосводе. Всё элементарно. Но в какой же момент возникает поэзия, а с нею и чувство прекрасного?

Думается, в самой последней строфе: всё, что было до этого, построено на сгущении красок, а самое главное – лишено человеческого присутствия. Даже когда появляется синтаксическая конструкция «сидели, курили, лупили, ушли» и т. д., включается обезличенность: мало ли кто или что «сидели, курили» – это могли быть не люди, а ночные кошмары в любом их воплощении. Или что-то ещё антропоморфное. А вот когда на койке спросонья начинается чесаться солдат, появляется человеческое присутствие (пусть очень бытовое, нелитературное, грязное!) – и с ним появляется чувство прекрасного.

Милитрисе Давыдовой, своей ученице, Кропивницкий писал в 1948 году:

Жизнь, реальная жизнь мне кажется романтичнее романтизма, волшебнее волшебства. Мне кажется, что жизнь – стоящая вещь, чтобы отдать ей свою поэзию... Я работал над грубой глиной жизни. В повседневности я искал вечное через натуру. Из грубого сделал изящное и изысканное. Из банального оригинальное. Разве это не волшебство?

Волшебство – согласимся мы.
Но дадим Деду развить мысль:

...Эта правда жизни смущает, особенно тех, кто привык считать себя знатоком поэзии. Они смущены, и в головах их рождается протест. Это не поэзия – говорят они – здесь нет ничего поэтического. И одни из этих «ценителей» поэзии говорят: поэзия не должна быть грубой. В ней уместны розы, грёзы и слёзы, а не то, что вы пишете. А другие так говорят: поэзия должна быть патриотичной

и поэтической – надо изображать белые берёзы, ширину страны, в которой живёшь, любовь к Родине и борьбу за лучшее будущее. И хором говорят так: что вы нам в нос суёте бандитизм, воровство, жульничество, самоубийство, женский разврат, мужской мат; показываете санитарок со вшами, пьяниц с водкой и селёдкой и прочее и прочее. Нет, нет! Поэзия должна быть возвышенная, героическая, зовущая и пропагандирующая светлое будущее. Но автор не хочет возражать на всё это. Просто ему чужда поза, выдумка и фальшь. Плоть и кровь бытия интересуют автора стихов. Вас он показывает вам, миряне, по мере сил и способностей.

Поэзия вообще никому ничего не должна. Автору – публикаций, гонораров, славы и признания. Издателю – прибыли и перспективы. Читателю – простоты понимания и удовлетворения его эстетических пристрастий. Современникам – попадания в нерв времени. Потомкам – языковой доступности.

Возьмём ещё одно стихотворения Кропивницкого – «На этюдах» (1952):

Природа – чудо-юдо,
Как синий бархат тень.
Художник на этюды
Уехал в летний день.

Этюдник и палитра.
Этюд зацвёл красой.
Под кустиком пол-литра
И булка с колбасой.

Разве это поэзия? Художник выехал на пленэр с выпивкой и закуской. И всё. И, казалось бы, всё.

Но есть настроение – летнее, подшофе, при этом с минимумом затрат: всего-то пол-литра, булка и колбаса, которые обеспечат вдохновение для этюдов. Добавьте к этому описание природы (чудо-юдо) и тени (как синий бархат), разглядите неожиданный глагол «зацвёл» в сочетании с «этюдом». И, наконец, заметьте, что перед вами, собственно, тоже этюд, только поэтический.

Ещё один важный момент: стихотворение посвящено Петру Ивановичу Петровичеву (1874–1947). Это художник, он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1892–1903) у Исаака Левитана и Валентина Серова. Окончил училище с большой серебряной медалью и званием «классного художника». В 1911 году архитектурные пейзажи и интерьеры Петровичева были приобретены в галерею братьев Третьяковых, музей Александра III и музей Академии художеств. В 1924 году на выставке русского искусства в Нью-Йорке были представлены одиннадцать его работ. В 1927–1928 годах он участвовал в организации нового общества «Объединение художников-реалистов». В 1936 году принял участие в первой выставке художников-пейзажистов. В 1937–1943 годах преподавал живопись и рисунок в Московском областном художественном училище памяти 1905 года.

И на каком-то из этих путей Петровичев пересёкся с Кропивницким. Согласитесь, с обывательской точки зрения художник – человек, не озабоченный трудностями быта, потому что – либо у него всё есть, либо он настолько не от мира сего, что трудности быта в расчёт не берутся. Среднего не дано. А вот Кропивницкий выступал за это «среднее», неприметное, замыленное для глаза. И потому стихотворение

«На этюдах», работающее, извините за тавтологию, с рабочими моментами художника, – удивительно и прекрасно.

Раз зашла такая тема, коснёмся ещё раз быта художника Кропивницкого. Поэт Всеволод Некрасов, бывший не учеником Деда, а постоянным гостем барачков на станции Долгопрудная и в Лианозове, расписывал в деталях, что и как рисовалось:

Из-под руки Евгения Леонидовича, с утра усаживавшегося за рисование как некое рукоделие, в иные дни выходило разных набросков с десятков, а может, и больше. И много чего шло прямо в печку. По свидетельству Ольги Ананьевны – совершенно напрасно. Лучшее Евгений Леонидович откладывал, а остальное запросто мог подарить первому гостю. А мог и не подарить. Наброски, рисунки были самые разнообразные: абстрактные, фигуративные, натуральные, обобщённые, вариации по этюдам с натуры и портреты, и букеты, и особенно цветы. Разрабатывались мотивы и прогонялись по целой парадигме стилей и техники, к которым добавлялись вновь изобретённые и разработанные.

А помимо этого Кропивницкий любил разыгрывать, расспрашивать и испытывать собеседника. Иной раз мог эксперимента ради что-нибудь эдакое нарисовать в разных стилях и допытывать зрителей, требовать их мнения, и не просто «нравится – не нравится», а с выстраиванием аргументации.

Вообразите такую сцену: станция Долгопрудная, барак Кропивницкого, небольшая комната, повсюду развешаны картины двух авторов – как будто похожих друг на друга, но в то же время совсем не похожих, ибо у каждого свой почерк, свой стиль, свой, извините за выражение, мазок. Евгений Кропивницкий, принимающий гостей, начинает вечер:

– Сейчас я вам, товарищи, покажу самое бездарное произведение соцреалистической живописи. Вы ясно увидите, что этот прославленный пошляк ничего не понимал ни в красках, ни в фактуре. Особенно он слаб в композиции. Лёва, подай натюрморт. Вы видите, товарищи, как это слабо! Неужели это может вам нравиться?! Неужели у вас такой дурной вкус?

Аудитория смотрит на картину, а там... Ничего такого ужасного нет. Всё довольно просто. Лето, берег, речка, пацаны с удочками, поваленный в осоку велосипед. Картина как картина.

– Так вам это нравится? – невозмутимо спрашивает Кропивницкий. – Вы неискренни. В вас говорит традиция и привычка. Долой привычку! Долой традицию! Долой соцреализм и прочую мелюзгу!

В комнате оживление, потому что после такого подхода должно быть что-то необыкновенное. Кропивницкий, протерев усы, обращается к сыну:

– Лёва! Чтоб не портить вкус публике, которую я люблю и которая, вероятно, улучшит свой вкус, когда поучится и поумнеет, – убери эту бездарную картинку. А вот теперь, товарищи, вы увидите другое произведение искусства. Это портрет. В нем всё дышит талантом и свежестью. В этой картине вы чувствуете крик молодости и бодрости, новые искания. Это шедевр современной живописи. Это лучшая работа лучшего художника.

– Чья? – раздается из аудитории.

– Как чья? Моя, конечно! Лёва, покажи мой портрет так, чтобы его всем было видно!

Собравшиеся в комнате не выказывают никакой реакции – и это тоже реакция. Портрет как портрет: в запасниках Третьяковской галереи

и ленинградского Эрмитажа подобного хватает с избытком. Кропивницкого одолевает недоумение. Он осматривает гостей – все как на подбор, все свои, никого лишнего: почему такая реакция? Тогда он оборачивается к картине и впадает в неистовство:

– Одну минуту, товарищи! Я с вами совершенно согласен! Эта картина плохая! Дело в том, что произошла ошибка. Лёва напутал. Это не моя картина. Это – чистый соцреализм! А ну-ка, Лёва, что ты показывал до этого? Покажи ещё раз! Так, спасибо! Вы этому аплодировали? Замечательное чутьё! Это как раз моя работа!

Вообразили такую картину? Вот и хорошо. Не уверен, что именно такая ситуация могла произойти, но розыгрыш Давида Бурлюка в Политехническом музее начала 1910-х годов – вполне в духе Евгения Кропивницкого. Не именно таким, но подобным образом он любил проверять гостей. Особенно милых дам, разбирающихся в современном искусстве.

Важно напомнить дорогому читателю вот ещё какой момент: русская литература знает немало примеров, когда художники слова были ещё одновременно и мастерами красок (где-то более серьёзно – и были даровитыми художниками, где-то менее – и были отличными рисовальщиками): Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко, Василий Жуковский, Максимилиан Волошин... А дальше начинаются аномалии. Кубофутуристы – все без исключения – были и поэтами, и художниками (рисовальщиками): один Давид Бурлюк чего стоит! Никакая группа Серебряного века больше не могла себе такого позволить: мухи отдельно, котлеты отдельно – и никак иначе. В 1930-е и 1940-е – аналогично.

И вот после Великой Отечественной раскрывался по-настоящему гениальный поэт и отличный художник Евгений Кропивницкий. Из лианозовцев никто на должном уровне подобным не страдал. Разве что Эдуард Лимонов время от времени упражнялся в азах портретного рисунка. Но тут уже не только влияние Кропивницкого, но и, например, Вагрича Бахчаняна и Анатолия Зверева. В Лианозовской школе были либо поэты, либо художники.

Если брать современников, то и там – большая редкость, когда всё это совмещалось на должном уровне: Леонид Губанов, Владимир Алейников (оба – смогисты), Дмитрий Пригов (концептуалист), отчасти Иосиф Бродский (постакмеист) – и это, кстати, довольно любопытная картина, по которой видно, что человек, одновременно имеющий дело с поэзией и живописью, либо слишком «заземлён», либо, наоборот, слишком высоко парит в метафизических высях. Середины не дано.

Середины не дано, если не вспомнить о Евгении Кропивницком.

В 1963 году должна была состояться художественная выставка, посвящённая юбилею Евгения Леонидовича. Однако исторический шторм, поднявшийся 1 декабря 1962 года, когда Никита Хрущёв посетил выставку авангардистов в Манеже и разразился проклятиями в адрес художников, нагнал Кропивницкого: его исключили из МОСХа (где он состоял с 1939 года) – за формализм и организацию Лианозовской школы.

На допросе в КГБ Дед отвечал, что Лианозовская школа – это он, его супруга Ольга Ананьевна, сын Лев, дочь Валентина и зять Оскар Рабин. А всё остальное – выдумки.

Это так и не совсем так. В Лианозове и на станции Долгопрудная были постоянные сборища. Из известных имён можно припомнить

Генриха Сапгира, Игоря Холина, Яна Сатуновского, Всеволода Некрасова, Эдуарда Лимонова, Елену Шапову, Николая Вечтомова, Лидию Мастеркову и Владимира Немухина; заезжали в гости Борис Слуцкий, Леонид Мартынов, Илья Эренбург и многие другие зубры официальной советской литературы, но эти разово, нечасто.

Если говорить о прямых учениках Кропивницкого, то безусловным его продолжателем в поэзии является Игорь Холин:

Кто-то выбросил рогожу.
Кто-то выплеснул помои.
На заборе чья-то рожа,
надпись мелом: «Это Зоя».

Двое спорят у сарая,
а один уж лезет в драку.
Выходной. Начало мая.
Скучно жителям барака.

Игорь Холин рассказывал о посещении Деда:

Он жил в маленьком домике на станции Долгопрудная Савеловской ж.д., вместе с женой, художницей Ольгой Ананьевной Потаповой, а его дочь Валентина Кропивницкая и зять Оскар Рабин – в бараке, находящимся поблизости, на станции Лианозово. Пейзаж тех мест был весьма типичным для послевоенного Подмосковья: закопченные бараки, покосившиеся крестьянские избышки, забор и вышка спецлагеря, опутанные колючей проволокой, сонные пруды, огороды, сортирные будки, куры, козы, очередь у керосинной лавки... <...> Мы собирались в комнатухе Оскара Рабина, показывали свои работы, обсуждали их, катались на лыжах, выпивали. Ходили в гости к «деду», гуляли с ним по парку, беседовали.

Эдуард Лимонов в очерке «Труп розовой собаки» из первой «Книги мёртвых» подробно рассказывает о своём учителе:

В Долгопрудную мы ездили на автобусе. Перейдя шоссе, шли по мосту через пруд, сзади на той стороне, на холме, оставалась церковь, слева был негустой домашний лесок, а держась правой стороны, через сараи мы попадали в барак, где и жил мудрец и наш учитель – Евгений Леонидович Кропивницкий. Мудрец жил, как и подобает мудрецу – в крошечной комнате с печью, в обществе художницы, жены и партнёра по отрешению от жизни и страданиям: старенькой Ольги. <...> У них всегда было чисто и пахло печью или жжёным керосином. <...> А Евгений Леонидович сидел в бараке, и его, и Ольгу Потапову пытались обидеть пьяные пролетарии. Сараи, жидкая зелень, куры, бродящие между сараями, бельё на веревках через двор, пошатывающиеся мужики в майках на крыльце, ощерившиеся подростки курят в глубине двора – такой мне запомнился навсегда посёлок Долгопрудная.

Всё это в итоге выливается в стихотворение «Долгопрудная, 1968»:

Зной и полдень. Стусок Рая
В Долгопрудной, вдоль сарая.
К Кропивницкому иду,
Словно в райском я саду.

А вокруг бельё сушится,
И под зноем чуть дымится,
А Максимов молодой
Позади идёт за мной...

Сашки и Наташки вот бегут во двор:
«Нет ему поблажки! Он карманный вор!»

Мудрый Кропивницкий вышел на крыльцо.
Примусом воняет там, в стране отцов.

Поэтика Евгения Кропивницкого восходит к обэриутам и в особенности к позднему Николаю Заболоцкому (вот только они шли параллельными путями, и Заболоцкий откровенно припозднился на пару десятилетий), схожа с Николаем Глазковым (с чего и начался разговор) и, наконец, вырастает напрямую из капитана Лебядкина. Вот только отличается от всех отсутствием пафоса. В ней имеется место для снисходительной иронии (редко, но иногда и для ядовитого сарказма), для гротескного абсурда, для игры на понижение – много для чего, только не для пафоса.

К тому же, как мы помним, Александр Пушкин в письме Петру Вяземскому писал: «Твои стихи <...> слишком умны. А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Вот это кредо взял на вооружение именно Николай Глазков; Кропивницкий же сказал бы... А впрочем, что гадать? В 1964 году он составил «100 советов самому себе» – мы все их цитировать не будем, лишь малую часть, и в них попробуем найти ответ:

1. Будь смиренен и не злись.
2. Всегда кайся, ибо ты грешен, как и все.
5. Не бойся, но и не храбрись.
6. Уклоняйся от спора.
7. Никогда не спорь, но и не соглашайся, если ты видишь, что это не так.
13. Избегай советовать.
14. Избегай настаивать на своём.
18. Если очень плохо – молчи и не охаивай.
19. Старайся похвалить то, что не очень плохо.
26. Не будь слишком откровенен, не все хотят твои откровенности слушать.
48. С детьми, слабоумными и шизофрениками говори совершенно серьёзно, чтобы они не обиделись.
49. Борись со своей вспыльчивостью.
52. Не гонись за известностью – всё равно умрёшь.
56. Люди правду не любят, а любят выдумку. Выдумывай, но старайся это делать не лживо и талантливо.
73. Предоставь каждому быть таким, каков он есть, но не лезь к нему, если он опасен.
83. Имей у себя только то, что тебе крайне необходимо, а всё прочее бросай или сжигай.
96. Жизнь, как говорят, всему научит, но помни – надо быть смышлёным учеником.
99. Ничего не жди.
100. Жди только смерть – она придёт.

Это, конечно, больше походит на правила жизни, но определённая часть показывает и художественный мир Кропивницкого, его поэтику и практику написания стихотворений.

А по поводу пункта № 83, есть отдельное стихотворение под названием «Земной уют» (1955):

Граждане, располагайтесь,
Всем уютным запасайтесь,
Заводите то да сё;
Всем полезным занимайтесь –
Всем, наверно, нужно всё.

Нужен дом. Эй, стройте дом!
Комфортабельный притом.
Нужны платья и костюмы,
Нужен даже патефон,
Нестерпимо нужен он!

В головах роятся думы:
Телевизор бы купить,
Без него нет силы жить.
Нужны вещи для уюта,
Для уюта и красы:
На руку надеть часы,
Золотые вставить зубы,
Краскою покрасить губы,
На ноги надеть капрон
И купить себе бостон.

Кропивницкий вообще стремился к скромности, если не сказать – к аскезе. Причиной тому и десятки лет голодной и полуголодной жизни, и барачные условия, и педагогическая работа, на которой необходимо быть примером для учеников, с одной стороны, а с другой – при всём желании на такую зарплату широко не погуляешь.

Главное же, что сформировало Кропивницкого, – выработанное почти монашеское смирение и, что более интересно, абсолютно природное лукавство. Последнее отмечали многие мемуаристы; да и на чудом уцелевших аудиозаписях с чтением стихов всё это чувствуется на уровне интонации. Невозможно было спокойно общаться с Дедом (тут иначе и не скажешь), потому что было непонятно: разыгрывает он тебя, испытывает ли, а может, просто интересуется твоим мнением?

Например, в письме к Игорю Холину от 18 октября 1967 года он писал:

Не знаю, как на западе, а у нас мало хороших поэтов было, а теперь их совсем нет. Одно самомнение. Самообман. Самообольщение. Поглядишь – пуф – «забор», как сказал «гениальный» Хвостенко. Гениев и правда много и кроме Хвостенок есть. Сейчас гениев такая сила, что ими хоть пруд пруди – и все эти гении азартны, идут, лезут вперёд, хают друг друга. А иначе и нельзя! Как же ещё?

Чего здесь больше – излишней скромности или явного лукавства? А может быть, простого стариковского ворчания? Не каждый старик получает прозвище Дед! Почти шутка.

Вот и Эдуард Лимонов припоминал такие рассуждения Кропивницкого:

Однажды он написал и прочёл мне своё произведение о гениях.

Художник Анатолий Брусиловский – гений!
Художник Илья Кабаков – гений.
Поэт Игорь Холин – гений...

Всего в стихотворении перечислялся 131 гений!

Это была насмешка старика над московскими культурными нравами андеграунда того времени, когда самовосхваление и взаимное обожание породило пере-производство гениев. К тому же, вокруг гения немедленно оформлялась группа приживалок и собутыльников. В лучшем случае, они быстренько обглаживали его до косточек, в худшем – липли к нему до самого его последнего смертного часа. И даже после, как свидетельствует судьба наследия Бродского.

Правда, в этом описании хватает и лимоновского мирозерцания!

А теперь серьёзно: вроде бы совершенно нормально уходить от самооценки и от гиперболизированной оценки друзей, коллег и современников. Время всё расставит по своим местам. Но в то же время Кропивницкий прожил немалую жизнь и знает, как «лягались» поэты Серебряного века, как жутко хулиганили молодые поэты 1930-х годов и как в 1960-е заявляют о себе «самые молодые гении» с их перформансами. То есть наблюдение за литературным процессом должно было показать, что сложившийся порядок вещей – так вышло! – норма. И никуда от этой нормы не деться.

Можно подумать: в наши дни поэты не именуют себя и друзей гениями, не выясняют отношений и не хаот друг друга?

Что, в конце концов, эта книга, как не попытка пересобрать литературно-философское пространство и обратить внимание простого читателя на неведомых ему гениев?

Кропивницкий прожил долгую и насыщенную жизнь. Большую часть – на станции Долгопрудная. Когда умерла жена Ольга Ананьевна Потапова в 1971 году, перебрался к сыну Льву – в Москву.

Как и многие его коллеги, он при жизни не был признан. Помимо самиздатовских сборничков (тиражами в десятков-другой экземпляров) он дождался книги «Печально улыбнуться...», выпущенной в 1977 году... в Париже, то есть обзавёлся ещё и тамиздатом. После его смерти вышел скромный сборник в издательстве «Прометей» (1989) и толстенная книга «Избранного» (736 стихотворений плюс другие материалы), которую подготовил и издал в 2004 году Иван Ахметьев (тоже важная фигура и того времени, и нашего).

Вокруг картин ситуация ещё печальнее. Пока Дед был жив, максимум, на что он мог рассчитывать, – это домашние да неофициальные выставки. Нелегально что-то вывозилось за рубеж и выставлялось там, но это совсем уж какие-то исключительные случаи. Западные коллекционеры если что и покупали, то не так активно, как у более молодых и нахрапистых коллег. Сегодня иные рисунки и картины, а также рукописи со стихами и отдельные самиздатовские сборнички можно встретить на аукционных торгах, но... даже там они не бьют ценовых рекордов.

Евгений Леонидович Кропивницкий – драгоценный камень, доступный не каждому. До него надо дочитать, досмотреть, дослушаться и, наконец, дорасти.